
ВЕДОМОСТЬ
18+

Райль Фаббри
Ведомость

https://litres.ru/74932057
SelfPub; 2026

Аннотация

Савва, работник ремонтного цеха в депо, находит в кабине списанного тепловоза странную деревянную коробку с выжженным словом «ВЕДОМОСТЬ». Внутри — игрушечный поезд с трубой и гладкий чёрный камень. Одно неосторожное движение — и мир замирает, а Савва оказывается на платформе «Тайга-Сортировочная», в мире, где железная дорога ездит по памяти, а платой за проезд служат самые дорогие воспоминания. Чтобы вернуться домой к дочери Дане, ему предстоит пройти через станции забытых, где имена читают вслух, чтобы люди не гасли, и где долг может тянуть сильнее, чем камень или вода. «Ведомость» — атмосферная история о цене памяти, о том, что значит «застрять» и «сбежать», и о том, что даже на дороге, которая ничего не возвращает, можно выиграть, если не играть по чужим правилам.

Содержание

Глава 1. Смена 4
Глава 2. Тайга-Сортировочная 13
Глава 3. Второй вагон 23
Конец ознакомительного фрагмента. 28

Райль Фаббри
Ведомость

Глава 1. Смена

Утро было серым. Дана сидела на полу в коридоре, в пижаме, и катала между ладонями деревянный кубик — потёртый, с облезлой гранью. Она таскала его с собой второй год и никуда не отдавала.

— Пап, а поезд?

Савва искал вторую рукавицу. Первая была в кармане, вторая — где-то под курткой, которую он вчера бросил на стул.

— Завтра, солнышко.

— Ты вчера так сказал.

— Значит, послезавтра.

Он не смотрел на неё. Завязывал шнурок, хотя шнурок был завязан.

Дана перестала катать кубик. Посмотрела на него снизу вверх — и не мигала. Когда она не соглашалась, она не мигала, и это было хуже всяких слов: так он сам смотрел в зеркало, когда не хотел уступать.

— Ты всегда говоришь завтра.

Савва нашёл рукавицу. Присел на корточки, поправил во-

ротник пижамы — тот был застёгнут не на ту пуговицу.

— В этот раз точно. Красный. С трубой. — Он кивнул туда, где за домами стоял вокзал. — Как у того, на мосту.

— С трубой? — переспросила Дана.

— С трубой.

Она кивнула. И снова взялась за кубик. Савва поцеловал её в макушку — она пахла сном и молоком — и вышел.

За стеной, на кухне, гудел мамин будильник — у неё была вторая смена, и она досыпала. Савва на цыпочках притворил дверь.

Мост он переходил каждое утро — три пролёта досок над путями, перила с облезлой краской. В прошлую субботу Дана сидела у него на плечах, в куртке не по погоде, и держалась за его волосы двумя руками. Внизу прошёл зелёный поезд, с жёлтой полосой, и Дана крикнула ему «у-у-у» — просто потому, что поезд отвечает гудком. Гудок был низкий, длинный, отдавался в досках под ногами — и в её ладонях, которыми она держалась за его волосы.

— Пап, он нам ответил, — сказала Дана.

— Ответил, — сказал Савва.

— Он нам ответил, — повторила она и до вечера говорила это всем, кому открывала дверь.

С тех пор, как пропал Матвей Саныч, мама перестала спрашивать про депо. Не разучилась ждать — разучилась спрашивать.

В депо пахло соляркой, мокрой ржавчиной и остывшим

чаем. Савва работал в ремонтном цехе четвёртый год. Недавно сдал на машиниста — должен был занять место Матвея Саныча. В конторе об этом знали, но вслух не обсуждали. Слишком свежая была память.

Матвей Саныч числился здесь с восемьдесят седьмого года. Тридцать один год. Однажды не вышел из смены. Не уволился, не заболел, не уехал. Просто не вернулся. В депо висела его фотография: худое лицо, внимательные глаза, рука на рычаге. Под стеклом — выцветшая бумажка: «Матвей Саныч. На дороге с 1987. (Списан в 2018)». Слово «списан» стояло в скобках, потому что тела не нашли, а без даты акт о списании не подпишут. Так распорядилась бухгалтерия — единственная в этой истории, кто знал, чего хочет.

На этой неделе наконец пришёл акт на списание. На место Матвея никого не назначили — смена оставалась за ним. Никто не хотел садиться на мёртвое место. Пульт достался Савве вместе с заначкой инструментов в ящике и с кругом от кружки, выжженным на столе. Акт он подписал без колебаний: металл есть металл. Но разбирать чужую машину оказалось хуже, чем свою. Он нащупывал каждый болт, как будто Матвей Саныч мог взять его за плечо. Из ящика, из-под инструментов, достал нож — костяной, лёгкий, тёплый на вид — и сунул в карман не подумав. Вещь была не его. Он это понял не сразу.

На подоконнике, у самой рамы, сидела ворона. Большая, с перьями цвета мокрого асфальта, со шрамом через левое

крыло. Она жила в депо уже третий год — с тех самых дней, как пропал Матвей, — и рабочие звали её старухой. Днём она воровала у кого успеет, но по утрам одно было неизменно: она садилась на верстак Матвея и ждала. Ждала недолго. Потом улетала на крышу и не показывалась до вечера.

Савва положил ей краюху на верстак — не думая, привычно, как вешают куртку на один и тот же гвоздь. Ворона взяла хлеб и посмотрела на него жёлтым глазом. Долго. Так, что он отвернулся первым.

Петрович сидел на перевёрнутом ящике и курил в форточку. Петрович был слесарем ещё при Матвее, знал его живым. Иногда рассказывал — но только если спросить.

Савва не спрашивал.

В тот день он разбирал старый тепловоз ТЭМ2, списанный ещё в прошлом году. Кабина пропахла табаком и мазутом. Под пультом, в нише, куда обычно прятали инструменты, Савва нащупал деревянную коробку.

Он вытащил её. Небольшая, потемневшая, без замка. На крышке выжжено: «ВЕДОМОСТЬ». Буквы — не резаком, не пером: как будто выжжено изнутри, и дерево вокруг надписи потемнело аккуратными кругами, как от ожога.

Коробка была тёплой.

Не тёплой от рук — он держал её двумя пальцами за края. Тёплой, как живое.

— Петрович, — сказал Савва. — Ты это видел?

Петрович обернулся. Посмотрел на коробку. Долго. По-

том затушил сигарету о подоконник и перекрестился. Петрович вообще никогда не крестился.

— Положи, — сказал он. — Положи, где взял.

— Я не брал. Она в нише лежала.

— Неважно, где она лежала. Она теперь с тобой. Положи.

— Почему?

— Потому что она не твоя.

Савва повертел коробку в руках. Внутри что-то перекатывалось — глухо, как камень.

— Это Матвея?

Петрович молчал. Потом заговорил — быстро, на одном дыхании, как будто слова давно лежали готовые и он только ждал, когда придётся их отдать:

— Была его. Он с ней в смену ходил. Я один раз её открыл — ещё у Гринько она была, у машиниста, он её в рейс таскал и не вернулся, а коробка в кабине под сиденьем осталась, я нашёл. Открыл. Там поезд. Деревянный, маленький. И камень чёрный, гладкий, как мыло. Я поезд в руки взял — и мир встал. Не потемнел, не пропал. Встал. Чай из стакана не льётся, пыль в воздухе стоит столбом, чайник не шипит. Я стоял и думал: Петрович, у тебя дочь. Петрович, ты ей обещал на речку. Петрович, а ты вообще кто? Я поезд обратно швырнул — на камень угодил, целиком, всеми колёсами. И мир как рыснёт. Я больше к ней не лез. Ни к этой, ни к какой. И тебе не советую.

— А Матвей лез?

— Он же не Петрович. — Петрович пожал плечами. — Он с ней ходил. Год ходил. А потом не вышел из смены. С тех пор коробку не видел. Думал, забрал с собой. Ан нет, она ждала.

— Чего ждала?

— Откуда я знаю. Коробка. Дерево и жучок внутри.

— А говорят, его потом видели. На другой ветке. Мужик, имени не помню…

— Говорят всякое. — Петрович отвернулся к форточке. — Положи, Савва. Где взял — там и лежит. Мне она ни к чему.

Он умел обрывать разговор. Савва вернулся к тепловозу, положил коробку на верстак и пошёл к Петровичу — нарочито шумно, чтобы пересечь цех и оставить коробку за спиной. Пусть лежит. Он не собирался её трогать. Он вообще не собирался о ней думать.

Он думал о ней.

Через час он вернулся к верстаку. Коробка стояла там же, где он её оставил. Только крышка была приоткрыта — на палец. Он её закрывал. Он помнил, что закрыл: надавил ладонью, услышал, как осело дерево.

Савва оглянулся на Петровича. Тот мыл руки под краном, спиной к цеху.

Савва открыл крышку.

Внутри лежал маленький деревянный поезд — потемневший, со сбитой краской, с трубой. Стоял на подкладке —

лоскуте серого сукна, протёртом до гладкости. Рядом, отдельно, лежал чёрный камень, гладкий, как мыло. От трубы шёл пар. Тонкий, едва заметный — но в мёртвой тишине цеха было слышно, как он шипит.

— Это ты? — спросил Савва у вороны. — Ты открыла?

Ворона сидела на верстаке, рядом. Она не брала хлеб. Она смотрела на коробку.

— Не открывай, — сказала она.

Голос был хриплый, но отчётливый, как у старого радиста. Савва отшатнулся. Спина ударилась о верстак. Рука сама метнулась к коробке — прикрыть, спрятать, — и он взял поезд.

Два пальца. За борт.

Мир остановился.

Чай в его стакане — не потёк. Пыль в луче света — замерла. Петрович под краном застыл, и вода над его руками стояла стеклянной коркой. Часы на стене держали семь двадцать три.

— Положи, — сказала ворона быстро, без прежней длинноты. — Положи обратно, на место, и ничего не делай. Слышишь? Ничего. Не ставь его.

— Куда положить?

— В коробку. На подкладку. Только не на камень. Камень — это ход.

— Камень — это ход, — сказала она уже тише. — Пока поезд в коробке, на подкладке, — он едет вместе с дорогой.

Вынут из коробки — мир встанет. Поставишь на камень — поедет. Поэтому не вынимай его без нужды: каждый раз, когда поезд выходит из коробки, — это ход.

Савва не понял. Слово «ход» ничего ему не говорило. Но руки его слушались плохо: поезд был лёгкий, а ладонь тряслась, и он пытался опустить его обратно, в коробку, туда, где тот лежал, — и промахнулся.

Поезд коснулся камня.

Не упал на него — лёг. Целиком, всеми колёсами. И мир поехал.

Не замер, не потемнел — поехал, как состав, которого толкнули с горки. Петрович, вода, чай, пыль — всё это осталось где-то сзади и уже не догоняло. В ушах свело, как на большой высоте.

— Поздно, — сказала ворона. Каркнула — резко, нетерпеливо. — Ты сделал ход.

— Я не хотел! Я клал обратно!

— Знаю. Первый ход всегда нечаянный. Поэтому он и первый.

— Кто ты?

— Амато. Я знала Матвея. Я ждала того, кто придёт после него. — Она перелетела ему на плечо, когти впились в куртку. — Не суетись. И не роняй коробку.

Цех исчез. Под ногами была платформа — деревянная, старая, с облупившейся краской. На столбе табличка: «Тайга-Сортировочная». Вокруг лес, тёмный, с высокими елями.

Пахло снегом и гарью. Где-то далеко гудел поезд.

Савва прижал коробку к груди.

— У меня дочь, — сказал он. — Мне нужно вернуться домой.

— Тогда не торопись, — сказала Амато. — И не делай ход, пока не поймёшь, чем платить.

— Чем платить?

Она не ответила. Посмотрела на коробку. Потом на Савву. И сказала только:

— Ты уже в игре.

Он сделал шаг назад. Потом ещё один. Спина упёрлась в столб.

Савва хотел закричать, что это бред, что вороны не говорят, что таких коробок не бывает. Но где-то далеко, за лесом, гудел поезд — низко, длинно, и звук отдавался в груди и в земле. Савва вздрогнул. Он помнил этот звук. Он помнил его с детства, с перрона, с руки отца.

Не успел испугаться как следует. Поезд уже шёл.

Глава 2. Тайга-Сортировочная

Платформа была длинной и старой. Доски прогибались под ногами, краска на столбах облупилась до серого дерева. Над крышей висел фонарь, похожий на репу, — жёлтый, с трещиной по стеклу. Он горел, хотя вокруг стоял день. Если это был день.

Савва посмотрел на небо. Оно было белым — без солнца, без туч. Просто белым. Лес подступал к путям вплотную: ели, пихты, сухой бурьян, торчащий из-под снега.

А вдоль путей, дальше фонаря, стояли другие репы. Огромные, врытые в землю по плечи: вырезанные рожицы, внутри каждой тлел зелёный огонь, и свет падал на шпалы косыми пятнами. Все лица были разные. Одни ухмылялись, другие скорбели, третьи смотрели так, будто знали о нём то, чего он сам не знал.

Савва сделал полшага в их сторону — и все репы разом повернули глазницы на него.

Он отступил.

Позади всех, у самых старых рельсов, стояла ещё одна репа — он не сразу её заметил. Лицо было вырезано наспех, огонь внутри догорал: тлел, как тлеет уголёк, когда перестают на него дуть. Никто на неё не смотрел.

— К краю не подходи, — сказала Амато. — Там рельсы старые. Туда уходит то, что не успело на поезд.

— Что это?

— Фонари. — Ворона дёрнула головой вдоль путей. — Только светят они не тем, чем горят. Присмотрись — некоторых узнаешь.

— Кого?

— Не сейчас.

А за ней, в тени, стояла ещё одна. Без огня. Совсем. Просто вырезанное лицо, пустое внутри. На неё не смотрели даже репы.

— А эта? — спросил Савва.

Амато не ответила.

И больше к той репе не возвращались.

У кассовой будки стоял мужчина в рабочей куртке, лет пятидесяти. Спиной к Савве, лицом к окошку. Будка была маленькая, с окошком, забранным мутным стеклом; на стекле табличка: «Касса. Приём по расписанию. Расписание уточняйте у кассира».

— …и ещё раз, — говорил мужчина. — Мне нужно до Пихтовой. Это две остановки. Я там работал.

— Такой станции нет, — сказала кассир.

— Есть. Я двадцать лет туда ездил.

— Здесь такой станции нет.

Мужчина помолчал.

— Тогда до любой. Мне нужно домой.

— Домой — это не станция.

— Я знаю, что не станция. Мне нужно туда, где я живу.

Кассир вздохнула. Достала из-под стола картонную карточку.

— Одно воспоминание. Связанное с домом. Самое дорогое не берём — оно не по тарифу.

— Какое?

— Любое. Выбирайте.

Мужчина стоял долго. Савва видел его затылок — седой, с залысиной. Потом мужчина сказал:

— У меня дочь. Она в Пихтовой. Я ей каждый день звонил. Как она в школу собирается — я это помню. Потому что я всегда звонил в это время. Она ещё сонная, ворчит.

— Хорошее воспоминание. Не пустое.

— Это оно и есть.

— Давайте руку.

Мужчина протянул руку. Кассир что-то сделала — Савва не видел, что. Просто в какой-то момент мужчина замолчал. Не резко. Как будто выключили радио. Он стоял и смотрел на карточку в своей руке. Потом поднял глаза.

Савва смотрел на затылок мужчины. И видел, как затылок этот вдруг стал чужим — как будто из человека вынули позвонок.

— А куда я еду? — спросил он.

— До следующей станции.

— А зачем?

— Вы сами сказали. Домой.

— Домой, — повторил мужчина. — Да. Домой.

Он отошёл от будки. Прошёл мимо Саввы. Лицо было не пустое и не испуганное. Просто из него вынули что-то — небольшое, но важное. Лицо осталось тем же, а человек — другим.

Мужчина сел на скамейку в конце платформы. Поставил карточку на колени. И стал смотреть на рельсы.

Савва подошёл к окошку. За мутным стеклом было тёмно. Потом тьма шевельнулась.

— Слушаю, — сказала кассир.

— Мне нужен билет.

— Куда?

Савва открыл рот. И не нашёл слова.

Он помнил депо. Помнил Дану. Помнил дорогу до депо. Но названия города не было.

— Я не помню, — сказал он. — Как называется… где я живу.

— Все так говорят, — сказала кассир без удивления. — Адрес взяли при входе.

— Кто взял? Я ничего не отдавал.

— Дорога. Она не возит даром. — Кассир подалась к стеклу. — При входе берут адрес. Название города, как до него ехать. Дом остаётся — людей дом не вынимает. Но дорогу до дома дорога оставляет себе.

— Значит, я не вернусь?

— Вернётесь. Но учить будете заново. Все учат. — Она подождала, не отрываясь от него. — Билет. Одно воспоми-

нание. Связанное с домом.

— А которое берут?

— Среднее. Чтобы не жалко было — но и не слишком лёгкое.

Савва не спросил, кто мерит. Боялся, что ответят.

Савва подумал. Первым пришёл гудок. Не деповский, не утренний. Детский. Он стоял на перроне с отцом, держал его за руку, и поезд шёл мимо — длинный, зелёный, с жёлтой полосой. Гудок был низкий, длинный, отдавался в груди и в земле. Тогда он впервые понял, что такое «далеко».

— Гудок, — сказал он. — Первый, который я слышал.

— Хорошее воспоминание. Есть что взять.

Кассир что-то сделала. В голове щёлкнуло — тихо, без боли. Он помнил, что стоял с отцом на перроне. Помнил руку отца. Помнил зелёный поезд, мимо которого они стояли. Но гудка не было. Перрон стоял в тишине — и тишина была неправильная, как кадр без звука.

Он попробовал вспомнить звук — и наткнулся на пустоту. Как будто звук вырезали ножницами, а края сошлись.

— Билет действителен до следующей станции, — сказала кассир. — Не теряйте. Не передавайте. Не пытайтесь вернуть.

Карточка была почти невесомой. С краю — штамп: «Тайга-Сортировочная. Прибытие».

Савва отошёл. Долго стоял, глядя под ноги.

— Амато. Это правда? Дорога забрала адрес?

— Правда.

— И что, все так входят?

— У каждого дорога своя. Дорога едет по памяти. Сначала по твоей. Потом по чужим.

— Это всё — из меня?

— Пока — из тебя. Чем дальше поедешь, тем больше будет чужого. Поэтому не засиживайся. Своё место здесь заканчивается быстро.

От кассы вдоль стены тянулся вокзал — низкий, тёмный, с восемью окнами. Семь были тёмные, и тьма в них была казённая, как остывшая печь. У восьмого, горящего, стоял человек. Огромный, в форменном пальто, с мокрым околышем. Один глаз — глубокий, колодезный. Второго не было — глазница, и в ней горел огонёк.

— Билет, — сказал он, не оборачиваясь.

— У меня есть.

— Знаю. Я констатирую отбытие. Я — Лихо.

Савва протянул карточку. Лихо взял её двумя пальцами — бережно, как берут чужое, — поднёс к огоньку. Потом взял компостер, старый, тяжёлый, с медной ручкой, и проколол. Звук был такой, будто прокалывали не бумагу.

— Проколотые — значит, отбытые. Отбытие зачтено. Иди вдоль путей. Дорога любит тех, кто идёт.

— А обратно сейчас? — спросил Савва. — У меня дома дочь.

Лихо помолчал. Огонёк горел ровно.

— Знаю. Дом — это котёл. — Он сказал это не злобно и не жалостливо — как читают накладную. — Обратно — не мой. Обратно — у той, что едет задом наперёд. А пока — вперёд.

— Я не хочу вперёд. Я хочу домой.

— Хотеть можешь сколько угодно. Хотение — не билет. — Лихо отвернулся к окошку, показывая, что разговор окончен, и голос у него был голос человека, у которого ключи от всех коридоров и который никого в них не пускает — не из жестокости, из жалости.

В конце платформы, у самой стены леса, стояла женщина. В длинном сером пальто с большими пуговицами. В руке — маленький чемодан с двумя ремнями; из щели у замка торчали уголки картона.

— Новенький?

Голос был спокойный, с усталостью — не такой, как у кассирши. Другая усталость.

— Савва.

— Полуночница. Имя я уже забыла. Оно было неважно. — Она посмотрела на его коробку, на Амато у него на плече. — Билеты? — спросила она и кивнула на чемодан: из щели у замка торчали уголки картона.

— Билеты. — Она ослабила ремень, показала: карточки лежали плотно, в несколько слоёв, как карты в колоде. — Они не работают. Я всё равно их ношу.

— Почему?

— Потому что это всё, что у меня есть. — Она затянула ремень. — Однажды сошла не там. С тех пор еду в обратную сторону. Всегда в обратную. Довезу вас, если повезёт. Мне не привыкать.

Савва пошёл вдоль путей к вагону. Репы не сводили с него глаз — глаза были вырезаны наскоро, но смотрели. И он впервые увидел, что их рожицы, если присмотреться, похожи на лица живых. Чужие. Забытые. А одна — ближняя, морщинистая, с тяжёлыми бровями — принадлежала Матвею Санычу.

Савва остановился. Репа смотрела на него — не как остальные, а так, как поворачивается голова у того, кто очень хочет что-то сказать и давно разучился.

— Амато. Это…

— Не сейчас, — сказала ворона тихо. — Поезд не ждёт.

Савва ещё раз посмотрел на неё. Между бровей у неё было гладко — как страница, на которой ещё не писали. Он не знал, почему запомнил это место.

Запомнил.

Поезд появился не из-за поворота. Из леса пошёл пар — сначала далёкий, потом ближе — и состав вырос, как будто поднимался из земли. Тёмно-зелёный, с жёлтой полосой. Окон не было. Вместо них — чёрные провалы.

Савва смотрел на него и не мог отвести глаз. Зелёный, с жёлтой полосой. Он знал этот поезд. Не так, как знают вещи: знал телом, в груди, где раньше отдавался гудок. Знание

осталось, память — нет.

— Это тот? — спросил он тихо. — Из детства?

— Твой ли, её ли — какая разница. — Амато спустилась с плеча. — Она находит дорогу в тебе и ездит по ней. Не удивляйся, если узнаешь ещё что-нибудь. Лучше сразу не узнавай.

Поезд остановился. Двери второго вагона открылись сами.

— Второй вагон! — крикнула Амато уже в спину Савве, который почему-то потянулся к первому.

— Почему второй?

— В первом сидят те, кому кажется, что они ведут. Во втором — едут.

Позади, на платформе, Полуночница встала со скамейки, подняла чемодан и пошла следом — не торопясь.

Савва шагнул внутрь. Амато влетела следом. Двери закрылись.

Поезд тронулся. Савва сел у окна. Коробка лежала на коленях, карточка — в кармане. В голове, на месте гудка, была дыра.

Он открыл коробку — проверить, на месте ли поезд. Поезд стоял на подкладке. Камень лежал рядом, отдельно; Савва сдвинул его к стенке, не глядя. А под подкладкой, на самом дне, лежал конверт — простой, без марок и адреса. На конверте, теми же выжженными буквами, что на крышке: «Тому, кто найдёт коробку».

Он достал конверт. Внутри был один лист — три строки, выжженные, как на коробке: «Не пытайся спасти того, кто не просил. Не останавливайся. Не ходи по чужим правилам». Он сложил лист обратно, задвинул под подкладку.

— Следующая станция «Памятная», — сказала Амато. Она села на поручень напротив, втянула голову в перья и закрыла глаз. — Постарайся не забыть, зачем едешь.

— Я помню, — сказал он. — Поезд. Красный.

Амато ничего не ответила. Только закрыла глаз плотнее.

Глава 3. Второй вагон

Поезд шёл недолго — туман за окнами то сгущался, то расступался, и всякий раз, когда расступался, Савва видел одно и то же: пути. Они расходились веером и сходились снова; ни леса, ни заборов, ни холмов — только шпалы, стрелки и светофоры, у которых не горело ничего, кроме букв на корпусах.

В третьем вагоне сидела Полуночница. Чемодан — на коленях, а в руках — выдолбленная репа с тлеющими углями; она качала её, как колыбель, и пела без слов.

— Откуда у тебя репа? — спросил Савва.

— С дороги. Она любит раздавать. Потом забирать.

— Зачем ты качаешь её?

— Качать легче, чем думать. — Она не переставая смотрела на тёмное стекло. — Качайте, когда страшно. Вам пригодится.

— Ты чего-то ждёшь? — спросил он и сразу пожалел.

Полуночница перестала качать. Потом закачала снова.

— Здесь не спрашивают о том, что у человека вместо дома, — сказала она.

Савва промолчал.

— В первом — те, кому кажется, что они ведут, — сказала Амато с поручня.

— Гринько ехал в первом, — сказала Полуночница. —

Он до сих пор там. Сидит у окна и ведёт. Куда — он и сам не помнит, но ведёт твёрдо. Первый вагон — он не куда-то. Он к себе.

Савва вспомнил: Гринько — тот машинист, у которого Петрович нашёл коробку под сиденьем. Который таскал её в рейс и не вернулся.

— Он был держателем до Матвея, — сказала Амато, не поворачивая головы. — Коробка не лежит. Коробка ждёт. Гринько хотел вести. Матвей хотел домой. Каждый нёс её, как нёс бы своё.

— А он знает, что коробка теперь у меня?

— Первый вагон не спрашивает. Он ведёт.

Поезд встал без скрипа — так останавливаются не оттого, что приехали, а оттого, что дальше железо не принято.

— Здесь, — сказала Амато. — Второй вагон. Иди. Тебя ждут те, кто ждёт бумаг.

— Каких бумаг?

— Твоих. Акт при тебе?

Савва похлопал по карману куртки. Акт на списание был при нём — он взял его в депо не подумав. Как и нож.

— При мне.

— Тогда иди. Акт дорога ждёт давно. Дорога ничего не теряет — но любит, когда бумаги идут сами.

Савва постучал в дверь второго вагона — три раза, как стучат в контору.

Изнутри отозвались.

— Войдите, — сказало изнутри. — Войдите. Войдите.

Голос был сухой, из бумаги и перьев, голос того, кто считает чужие шаги с точностью до полшага. Савва открыл дверь.

Внутри было курилкой и конторой разом. Посреди вагона стоял стол; за столом сидело то, что Савва сперва принял за человека в форменном пальто. Пальто было правильное, околыш — мокрый. А лица не было: вместо лица — гладкое место, как бланк без грифа. На столе лежал портфель. Портфель был старый, из свиной кожи, перевязанный бечёвкой узлом на два перехвата.

— Опозданий не зафиксировано, — сказало оно, не поднимая головы. — Явка констатирована. Садитесь.

Савва сел напротив. Амато осталась на пороге — ворон в контору, видимо, не пускали.

— Акт, — сказало оно и протянуло руку.

Савва вынул акт. Оно развернуло его — и Савва увидел страницу за страницей: разлиновка была красной, и красный не был чернилами. Красный был как раскалённый металл на просвет.

— Акт принят. Списание состоялось. Машина списана. Машинист оформлен как несчастный случай. — Оно помолчало. — Несчастный случай — не случай. Так дорога пишет о том, кого забирает не она.

— Кого тогда?

— Тех, кто делает ход. — Оно спрятало акт в портфель, под бечёвку. — Смена, оставшаяся за мёртвым, остаётся за

мёртвым. Тебе смены не дают. Тебе дают ход.

— Я не просил хода.

— Никто не просил. Ход не спрашивают. — Оно открыло книгу в клеёнке. Страница была разлинована красным — тем же, что не был чернилами.

— Это что? — спросил Савва.

— Ведомость. — Оно повернуло книгу к нему. — Строчка твоего хода пока пустая. Наполняется по мере хода.

Выше пустой строчки, через строку, шла другая запись — мелко, чужой рукой: «Оплата по билету: тем, что дома ждёт. Должник: ждущая».

— А это что? — спросил Савва.

— Не строчка хода. Строчка долга. — Ревизор закрыл книгу. — Долг — не моё. Долг — кассы.

— Чей долг? Кто должник?

— Дорога пишет, не объясняет. Я констатирую.

Савва порылся в карманах — нашёл мелочь, горсть смятых купюр. Протянул через стол.

Он не знал, зачем это делает. Руки сами искали хоть что-то привычное. Бумажное. Своё.

— За оформление.

— Я не беру, — сказало оно, не глядя на деньги. — Плата — не моя статья. — Мелочь и купюры остались на столе — так, как остаются вещи, которых не заметили. — Ступай. Оформление констатировано.

— А если я сверну? — спросил Савва, уже на пороге,

обернувшись.

— Сворачивают те, у кого есть куда. У тебя есть куда: дом за туманом. Дом ждёт. Ждущий — это котёл.

Савва вышел. Дым в курилке дрогнул и встал столбом снова.

На платформе не было никого — только репы вдоль путей, все глазницами на него. Савва постоял. Потом, не удержавшись, пошёл по шпалам обратно — туда, где за туманом было депо, где спала Дана, где мама досыпала перед второй сменой. Шёл он долго, и туман не расступался, и в какой-то момент Савва понял: шпалы под ногами идут не туда, куда идут его ноги. Он шёл против дороги, а путей становилось только больше, и все они вели туда, куда вели всегда.

— Обратный — не твой, — сказала Амато с плеча, не открывая глаз. — Обратный у Полуночницы. Лихо тебе уже отчитал: хотение не пробьёт билет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.